

Книга кончена. Эта книга действительно Ярь русской поэзии, совсем новые и буйные силы, которые вырвались из самой глубины древнего творческого сознания; корни этих молодых побегов ютятся в самых недрах народного духа, и русская поэзия с полным правом может сказать молодому поэту:

Все ли чуют, все ли чают,
Что в тебе светаю Я?

«АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ» КУЗМИНА

*«Весы», июль 1906 г.**

Как песня матери
Над колыбелью ребенка.
Как горное эхо,
Утром на пастуший рожок отозвавшееся,
Как далекий прибор
Родного, давно не виденного моря,
Звучит мне имя твое
Трижды блаженное:
Александрия!¹

(«Александрийские песни»)

Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи».

Без сомнения, он молод и, рассуждая здраво, ему не может быть больше 30 лет, но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эль-файумских портретах,² которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских ученых, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи. У Кузмина такие же огромные черные глаза, такая же гладкая черная борода, резко обрамляющая бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая ее.

Он мал ростом, узкоплеч и гибок телом, как женщина.

У него прекрасный греческий профиль, тонко моделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая, смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст.³

Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диомеда.

Но характер бесспорной античной подлинности лицу Кузмина дает особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих

* Готовится отдельное издание — слова и музыка М. А. Кузмина.

вазах: его глаз посажен очень глубоко и низко по отношению к переносице, как бы несколько сдвинут на щеку, если смотреть на него в профиль.

Его рот почти всегда несколько обнажает нижний ряд его зубов, и это дает лицу его тот характер ветхости, который так поражает в нем.

Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусно набальзамирован. Но пребывание во гробе сказалось на нем, как на воскресшем Лазаре в поэме Дьеркса:

«Лоб его светился бледностью трупа. Его глаза не вспыхивали огнем. Его глаза, видевшие сияние вечного света, казалось, не могли глядеть на этот мир. Он шел, шатаясь, как ребенок. Толпа расступалась перед ним, и никто не решался с ним заговорить. Сам ужаснувшись своей страшной тайны, он приходил и уходил, храня безмолвие».⁴

Древняя Александрия была одной из последних областей истории, которую открыло внутреннее око европейца, устремленное в свое прошлое. Флобер, Анатоль Франс, Пьер Луис один за другим произносили призывные заклинания над древними александрийскими гробницами, и в нашем сонном сознании возникали радостные и трагические тени богов и людей: Таис, св. Антоний, Билитис.⁵ Но заклинания их действовали не только в области искусства. Когда Анатоль Франс произнес свое заклинание над душой Таис, то гробница св. Таис действительно раскрылась, и труп ее вышел и был привезен в Париж, где он лежит теперь в круглом зале музея Гимэ,⁶ под стеклянным колпаком, с ужасом глядя своими широко раскрытыми золотыми глазами, сияя своими обнаженными зубами, скрестив стройные костяные ноги, тонко обтянутые желтым пергаментом кожи. А кругом нее лежат другие обитательницы Александрии, их одежды, их украшения и их изображения.

Почему же не могло случиться, чтобы призывная сила властных заклинаний, обращенных к Александрии, не вызвала к жизни одного из тех, в чьем набальзамированном теле продолжала тлеть в течение тысячелетий неугасающая искра земной жизни?

Мне бы хотелось привести Кузмина в музей Гимэ, подобно тому как следователи приводят подозреваемых преступников в морг, и внимательно следить за каждым изменением его лица и ждать, как задрожат его руки, как вспыхнет огонь в его огромных и мертвых агатовых глазах, когда он узнает в одной из тех, что лежат рядом с Таис, ту, которая танцевала для него «Осу» на зеленой лужайке, в обуглившихся от времени лохмотьях ту шелковую ткань, которой он одевал ее тонкое тело, узнает те золотые запястья и ожерелья из разноцветных камней, которые он покупал ей, «продав свою последнюю мельницу»,⁷ и на куске истлевшего папируса прочтет стихи, написанные своею собственной рукой:

Что ж делать, что перестану я видеть
Твое лицо? Слышать твой голос?
Что выпьется вино, улетучатся ароматы?
И сами дорогие ткани истлеют через столетье?
Разве меньше я стану любить эти милые хрупкие вещи.
За их тленность? ⁸

Я знаю, что он быстро овладеет собой и, когда мы выйдем из музея, он будет напевать про себя:

Что мы знаем? Что нам знать? О чем жалеть?
 Кружитесь, кружитесь, держитесь крепче за руки.
 Звуки звонкого систра несутся, несутся,
 В рощах томно они отдаются.
 Мы знаем, что все — превратно,
 Что все уходит от нас безвозвратно.
 Мы знаем, все все — тленно,
 И лишь изменчивость неизменна.
 Мы знаем, что милое тело
 Давно для того, чтобы потом истлело.
 Вот что мы знаем, вот что мы любим,
 За то, что хрупко, трижды целуем!⁹

Мне хотелось бы восстановить подробности биографии Кузмина — там, в Александрии, когда он жил своей настоящей жизнью в этой радостной Греции времен упадка, так напоминающей Италию восемнадцатого века.

Подобно лирику Мелеагру — розе древней Аттики, затерявшейся в хаосе александрийской антологии, Кузмин несет в своих песнях цветы истинной античной поэзии, хотя сквозь них и сквозит александрийское рококо.

В жилах его не было чистой эллинской крови. Вероятно он, как и Мелеагр, был сирийцем.¹⁰ По крайней мере в одном месте он вспоминает о «родной Азии и Никомедии».

Так же, как и Мелеагр, он имел право написать на своей гробнице: «Я, Мелеагр, сын Эвкрата, я возрос вместе с музами и первое свое странствие совершил сопровождаемый менипейскими грациями. Что ж из того, что я сириец? Чужеземец! У нас одна родина — Земля. Единый Хаос породил всех смертных. Подойди к гробнице моей без боязни. Эроса, муз и харит славил я стихами. Мужем я жил в божественном Тире и в священной земле Гадары, милый Кос приютил мою старость. Если ты сириец — „Салям“, если ты финикиец — „Хайдуи“, если грек — „Хайрэ“. И ты скажи мне то же».¹¹

Он жил значительно позже Мелеагра — уже в царствование императора Адриана, как можно заключить из одного стихотворения, в котором речь идет несомненно об Антиное, с которым он встретился три раза. В это время он был воином в войске императора. Он рассказывает, что шел за обедом для товарищей мимо дворцового крыла и через широкое окно увидал его:

Он сидел печально один,
 Перебирая тонкими пальцами струны лиры,
 А белая собака лежала у ног не ворча,
 И только плеск водомета мешался с музыкой. . .
 Волшебством показалась мне его красота,
 И его молчанье в пустом покое — полднем.
 И крестясь, я побежал в страхе прочь от окна.

В другой раз он стоял ночью на карауле в Лохии в переходе, ведущем к комнате царского астролога. Мимо него прошли три человека с факелами, и он между ними.

Он был бледен, — но мне казалось,
 Что комната осветилась не факелом, а его ликом.
 Проходя, он взглянул на меня
 И сказал: «Я тебя видел где-то, приятель!»
 И удалился в помещение астролога. . .
 И когда, легши в казарме, я почувствовал,
 Что спящий рядом Марций
 Трогает мою руку обычным движением,
 Я притворился спящим.

Третий раз он его видел вечером, купаясь около походных палаток цезаря.

Мы купались, когда услышали крик.
 Прибежав, мы увидели, что уже поздно.
 Вытащенное из воды тело лежало на песке,
 И то же неземное лицо — лицо колдуна,
 Глядело не закрытыми глазами.
 Император издали спешил, пораженный горестной вестью,
 А я стоял, ничего не видя
 И не слыша, как слезы, забытые с детства,
 Текли по щекам.
 Всю ночь я шептал молитвы,
 Бредил родною Азией, Никомедией,
 И голоса ангелов пели:
 «Осавна! Новый бог дан людям!»¹²

Упоминание о Никомедии и особенно это смешение христианских понятий с язычеством и с суеверием («лицо колдуна») несомненно убеждают нас в сирийском происхождении автора.

В других песнях мы не находим больше никаких упоминаний о военной и лагерной жизни. Надо предположить, что поэт оставил военную службу, получив в наследство имение близ Александрии, стал вести очень широкую и роскошную жизнь и быстро растратил все, что у него было. По крайней мере в последующих песнях мы находим только воспоминания о «проданных мельницах». Когда имение было продано и последние деньги истрачены, у него явилась мысль о красивом самоубийстве в стиле Петрония, в которую он вложил, однако, столько детской беззаботности и грации, что эти мечты послужили темой для одной из его лучших песен.

«Сладко умереть на поле битвы за родину, слыша кругом: „Прощай, герой!“» — говорит он, вспоминая свою службу в войсках императора.

«Сладко умереть маститым старцем. . . слыша кругом „прощай, отец“».

Но еще слаще, еще мудрее,
Истративши все именье,
Продавши последнюю мельницу
Для той, которую завтра забыл бы,
Вернувшись после веселой прогулки
В уже проданный дом, поужинать
И, прочитав рассказ Апулея в сто первый раз,
В теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний,
Открыть себе жилы.
И чтобы в длинное окно у потолка
Пахло левкоями, светила заря
И вдалеке были слышны флейты.¹³

Но эллинская привязанность к милой жизни не позволила поэту последовать примеру пресыщенного римского вельможи.

Сперва он жил у своих друзей, которые приютили его, заботясь о нем, и охраняли от мрачных и трагических мыслей.

К нему снова вернулась любовь к жизни:

Как люблю я, вечные боги,
Светлую печаль, любовь до завтра,
Смерть без сожаления о жизни. . .
Как люблю я солнце, тростники,
И блеск зеленоватого моря
Сквозь тонкие ветки акаций!
Как люблю я книги (моих друзей),
Тишину одинокого жилища
И вид из окна на дальние дынные огороды.¹⁴

Он некоторое время еще с грустью проходил «по широкой дороге между деревьев — мимо мельниц, бывших когда-то моими, но промененных на запястья тебе».

Из последующей его жизни мы знаем только то, что он был библиотечным писцом, как это видно из его великолепного гимна Солнцу.

«Солнце, Солнце, — говорит он: — Я — бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, Солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и соленой водой, и не меньше, чем его привычное сердце ликует при твоём царственном восходе из океана, мое трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и на мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, о, Ра-Гелиос, Солнце!».¹⁵

Как видно из этого гимна, поэт в конце своей жизни становится вполне язычником, и христианские влияния и верования его юности стираются и исчезают совершенно. Быть может, на него повлияли в этом отношении смерть Антиноя и его обожествление,¹⁶ которые так потрясли его сердце,

и у нас является невольная мысль о том, не принимал ли он участия в организации тех благотворительных обществ во имя Антиноя, которые получили большое развитие в его эпоху и спустя два столетия уже готовыми учреждениями перешли в руки христиан.

Этим кончаются все наши сведения о внешних обстоятельствах жизни автора «Александрийских песен» в том далеком эллинском восемнадцатом веке, откуда он принес свои сияющие воспоминания.

Темой его песен служит любовь — счастливая, мгновенная и необъяснимая. Одна из четырех сестер в его песне говорит: «Нас было четыре сестры, и мы все любили, но у каждой было разное „потому что“. Одна любила потому, что ей родители велели; другая любила потому, что богат был ее любовник; третья любила потому, что он был знаменитый художник, а я любила потому, что любила».¹⁷

Он никогда не называет любимых им по именам, отличаясь в этом случае от своего соотечественника Мелеагра, который, подобно Бальмонту, постоянно компрометировал своих возлюбленных, вплетая имена их в свои благоухающие стихи: Демо, Тимо, Фания, Тимарион, Зенофила, Элиодора. . .¹⁸

В одном стихотворении Мелеагр говорит:

«Ты спишь ли, Зенофила, мой нежный стебель? О, почему не могу я теперь бескрылым Сном проникнуть под твои веки, для того, чтобы даже он, он, который колдует над очами самого Зевса, не пребывал в тебе, потому что я один хочу владеть тобою».¹⁹

В «Александрийских песнях» нет этой четкой краткости написанной эпиграммы. Они не писались, не переправлялись десятки раз на восковых дощечках. Они складывались свободно и легко под струнные звуки кифары и пелись под аккомпанемент флейты. В их неправильно и свободно чередующихся стихах сохранились изгибы живого голоса и его интонации. Они нераздельны с той музыкальной волной, которая вынесла их на свет. В них есть романтизм, незнакомый Мелеагру.

Если б я был рабом твоим последним,
Сидел бы я в подземелье,
И видел бы раз в год или в два года
Золотой узор твоих сандалий,
Когда ты случайно мимо темниц проходишь,
И стал бы счастливее всех живущих в Египте.²⁰

Когда он хочет описать свою возлюбленную, он не называет ее, он говорит от ее лица, запечатляя стихом ее младенческий лепет:

«Сегодня праздник; все кусты в цвету, поспела смородина, и лотос плавает в пруду, как улей. . . Хочешь, я станцую Осу одна на зеленой лужайке для тебя одного? Хочешь, я угощу тебя смородиной, не беря руками, и ты возьмешь губами из губ красные ягоды и вместе поцелуи?».²¹

А другая говорит:

«Разве не правда, что я первая в Александрии по роскоши дорогих уборов. . . что никто не умеет подвести глаза меня искусней и каждый

палец напитать отдельным ароматом? Разве не правда, что с тех пор, как я тебя увидела. . . ничего я больше не желаю, как видеть твои глаза, серые под густыми бровями, и слышать твой голос?».²²

У его Эроса нет трагического лица. В этом мире все знают, что «милое тело дано для того, чтоб потом истлело», и все кончается радостно-грустным призывом:

Кружитесь, кружитесь,
Держитесь крепче за руки!

Он не написал ни одной надгробной эпитафии ни самому себе, ни своим подругам, подобно тому как их любили писать другие греческие певцы и особенно его старший брат Мелеагр, написавший на могиле Айсигены:

«О, земля, наша общая мать, привет тебе! Будь легка над моей Айсигеной, ведь она сама так мало тяготила тебя».²³

Быть может, поэт знал, что он не умрет вместе с эллинской радостью, и ушел из той жизни не через врата Смерти?

Но почему же он возник теперь, здесь, между нами в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас своими жуткими огромными глазами, усталыми от тысячелетий?

Зачем он с своей грустной эллинской иронией говорит нам жесткие слова:

Солнце греет затем,
Чтобы созревал хлеб для пищи
И чтобы люди от заразы мерли.
Ветер дует затем,
Чтобы приводить корабли к пристани дальней
И чтобы песком засыпать караваны.
Люди рождаются затем,
Чтобы расстаться с милою жизнью
И чтобы от них родились другие для смерти.²⁴

«ЭРОС» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Некий царь в древности заманил в свой сад Сатира — бога-зверя и допытывал его:

«В чем высшее счастье жизни?»

Сатир обернул к нему свое бледное звериное лицо, искаженное страданьем, и произнес загадочные и жуткие слова:

«Высшее счастье — совсем не родиться. А рожденному — как можно скорее умереть».

«Les charmes de l'horreur n'enivrent que les forts».

«Чары ужаса могут вдохновлять только сильных».

С неотвратимым любопытством Вячеслав Иванов зазывает в свой «Сад роз» — «в полдень жадно-воспаленный, в изможденьи страстных роз» вещего зверя для того, чтобы снова услышать из уст жуткие и манящие слова: «Высшее счастье — совсем не родиться!».